

С. М. Волошина

ORCID: 0000-0002-0635-3574

✉ s.m.voloshina@gmail.com

*Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
(Россия, Москва)*

«НАЕДИНЕ Я ВИДЕЛ ЕГО РАЗА ТРИ ИЛИ ЧЕТЫРЕ В ЖИЗНИ»: ЛИЧНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕЧАЛЬ В ДНЕВНИКАХ М. А. КОРФА 1839–1849 ГГ.

Аннотация. Личный дневник российского государственного деятеля М. А. Корфа представляет собой редкий пример слияния интереса личного и государственного, в частности глубоко личного переживания общественно-политических событий. Большинство записей касаются перипетий в высших институтах николаевской власти (царской семье, Государственном совете, министерствах и специальных комитетах). Эти события, как представляется, составляют основной жизненный интерес автора дневников и вызывают у него наибольший эмоциональный отклик, нередко выраженный в минорных тонах грусти и печали. Не менее эмоционально реагирует Корф на внешнеполитические события, в частности на революцию 1848 г. во Франции, а также на недостаточно быстрый, по его мнению, карьерный рост. При этом традиционные причины для печали, например болезни и смерти коллег и знакомых, вызывают у него лишь холодное любопытство. Образ Корфа в дневниках предстает двояким: индивидуальные черты образованного дворянина середины XIX в. сочетаются с характерным для элиты предыдущего XVIII в. восприятием монарха как сакральной фигуры и соответствующим к нему отношением. Печаль и ее формы, выражаемые Корфом в дневниках, рельефно описывают модель властной иерархии, выстроенную Николаем I. В центре этой модели находится сам император — источник основных радостей и горестей для высших чиновников и придворных, при этом печаль их увеличивается в прямой зависимости от расстояния до него.

Ключевые слова: история России XIX в., политическая история России XIX в., Николай I, М. А. Корф, дневники, история эмоций

Благодарности. Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС.

Для цитирования: Волошина С. М. «Наедине я видел его раза три или четыре в жизни»: личная государственная печаль в дневниках М. А. Корфа 1839–1849 гг. //

*Статья поступила в редакцию 15 мая 2023 г.
Принято к печати 27 июля 2022 г.*

Shagi / Steps. Vol. 9. No. 4. 2023
Articles

S. M. Voloshina

ORCID: 0000-0002-0635-3574

✉ s.m.voloshina@gmail.com

*The Russian Presidential Academy
of National Economy and Public Administration
(Russia, Moscow)*

“I SAW HIM IN PRIVATE THREE OR FOUR TIMES IN MY LIFE”: PERSONAL STATE SADNESS IN THE DIARIES OF M. A. KORF, 1839–1849

Abstract. The personal diary of a prominent Russian statesman, M. A. Korf, is a rare example of a fusion of personal and state interests, in particular, of a deeply personal experience of socio-political events. Most of the entries relate to incidents in the highest institutions of the Nicholas I's regime (the imperial family, the State Council, the ministries and special committees). These events seem to be the main life interest of the author and provoke his strongest emotional response, often expressed melancholically: with sadness and distress. Korf reacts no less emotionally to foreign policy events, in particular, the revolution of 1848 in France; as well as, in his opinion, his own overly slow career growth. At the same time, traditional reasons for sadness, such as illnesses and deaths of colleagues and acquaintances, arouse in him nothing but cold curiosity. The image of the author in his diaries appears twofold: the individual features of an educated nobleman of the mid-19th century merge with an approach inherent to the elite of the 18th century, namely, forming the image of a God-like monarch and the corresponding attitude towards him. Various forms of sadness expressed by Korf in his diaries vividly describe the model of the power hierarchy established by Nicholas I. The emperor is the very centre of this model: he is the source of major joys and sorrows for senior officials and courtiers, and their sadness increases in direct proportion to their distance from the emperor.

Keywords: history of 19th century Russia, political history of 19th century Russia, Nicholas I, M. A. Korf, diaries, history of emotions

Acknowledgements. The article was written on the basis of the RANEPА state assignment research programme.

To cite this article: Voloshina, S. M. (2023). “I saw him in private three or four times in my life”: Personal state sadness in the diaries of M. A. Korf, 1839–1849. *Shagi / Steps*, 9(4), 135–157. (In Russian). <https://doi.org/10.22394/2412-9410-2023-9-4-135-157>.

Received May 15, 2023

Accepted July 27, 2023

Дневники государственного деятеля Модеста Андреевича Корфа (1800–1876)¹, которые он более или менее аккуратно вел с 1838 до 1852 г. (в более поздние годы записи редки и нерегулярны), уникальны, в частности, тем, что личная и общественная тематика в них обычно неразделимы.

Большая часть записей посвящена государственной службе и ее нюансам, а также комментариям автора по поводу ее субъектов, властных механизмов, как внешних и очевидных, так и скрытых от непосвященных. Записи содержат эмоциональный отклик автора дневников на описываемые события, и отклик этот часто выражен в минорных тонах — грусти, печали, разочарования и других с ними сходных.

Важнейшую часть жизни М. А. Корфа составляет именно государственная служба: к 1838 г. он на протяжении четырех лет занимает должность государственного секретаря (секретаря Государственного совета — высшего законосовещательного института империи), в 1843 г. получает возжеленную должность члена Государственного совета, в 1849 г. — директора Императорской публичной библиотеки, а в течение 1840–1850-х годов назначается членом нескольких комитетов (в частности, с 1848 г. — последовательно двух комитетов по надзору над цензурой). Печальные комментарии часто относятся к этой важнейшей для Корфа сферы жизни — придворно-государственной.

Стоит отметить, что грусть Корфа не была данью входившей в высших кругах моде на меланхолию (см., например: [Старобинский 2016]); она не лишала его способности действовать в придворно-государственном поле и проявлять активный интерес к происходящим в нем событиям. Корф в своих дневниках представляется человеком сугубо рациональным, и если он не отдавал себе полностью отчета в подспудных, подсознательных мотивах своих чувств и ощущений, то последовательность излагаемых им событий, равно как и приводимые им причинно-следственные связи дают возможность читателю вполне ясно представить причины испытываемой им грусти.

¹ Соученик А. С. Пушкина по Лицею, с 1834 г. — секретарь, а с 1843-го — член Государственного совета, позже — председатель его департамента законов, с 1849 по 1861 г. — директор Императорской Публичной библиотеки, с 1861 по 1864 г. — глава II отделения СЕИВК).

Случай Корфа интересен и тем, что представляет собой редкий пример интериоризации политических, государственных событий, восприятия их как событий личных, интимных.

Большая часть записей относится к событиям в мире высоко-чиновничьем, придворном, к тому социальному полю, что примыкает к императору Николаю I — и полностью управляется и «дирижируется» им. Если попытаться более точно и узко опередить, что составляет жизненный интерес Корфа, то это будут именно соответствующие события, расстановка сил разных агентов, вся запутанная сеть их взаимоотношений и взаимовлияний с центром и движущей их силой — императором, — а также попытки Корфа найти наилучшее для себя место на этом поле. Все описываемые игры на поле ведутся, как представляется из дневников Корфа, ради одного, самого главного счастья — возможности лицезреть царя и общаться с ним, иметь личный доклад, свидание наедине с ним как знак самого высокого расположения. Соответственно, главным несчастьем становится невозможность непосредственного взаимодействия с императором.

Восприятие Корфом монарха как воплощения Бога на земле, подателя всех благ, одновременно обладающего полномочной силой сделать подданного совершенно несчастным, по-видимому, является частью общего российского властного сценария, расстановки отношений между монархом и подданными, во время некоторых правлений актуализирующегося ярче и сильнее. Схожий подход, характерный для придворных и высших чиновников XVIII в., описывает Е. Н. Марасинова, ср., в частности: «В эпистолярных источниках подробно перечисляются представители высших кругов, пользующиеся расположением императрицы (речь идет о Екатерине II. — С. В.) и обойденные ее милостью; приводятся отзывы государыни о том или ином подданном, детально комментируются приемы при дворе. <...> Авторы писем очень ревностно относились к размеру и характеру положенной им награды и крайне болезненно реагировали на малейшее ее несоответствие их статусу в системе чиновной иерархии, весомости заслуги и престижности поощрения современников. Любая несправедливость с точки зрения представителей господствующего класса “при раздавании милостей и мест” повергала их в уныние» [Марасинова 1999: 69, 78].

Разумеется, речь здесь идет далеко не только об арифметическом подсчете царских милостей в их материальном и символическом эквиваленте, но о надзоре над соблюдением иерархии и распределении царской (квазибожественной) милости в пространстве вокруг царя, уменьшающейся с удалением от центра.

Характерную манеру выстраивания иерархии описал Павел Флоренский: «...в сознании русского народа самодержавие не есть юридическое право, а есть явленный самим Богом факт, — милость Божия, а не человеческая условность, так что самодержавие Царя относится к числу понятий не правовых, а вероучительных, входит в область веры, а не выводится из вне-религиозных посылок, имеющих в виду общественную или государственную пользу» (цит. по: [Успенский, Живов 1996: 207]).

М. А. Корф обладал в этом отношении тонким чутьем, воплощая архетипическое мировоззрение в контексте николаевского правления конца 1830-х — начала 1850-х годов.

Так, в беседе с князем Илларионом Васильевичем Васильчиковым (с 1838 по 1847 г. председателем Государственного совета и Комитета министров) Корф прямо дает определение счастья и несчастья. Запись о беседе сделана 24 января 1843 г. Корф в это время уже почти девять лет находится в должности государственного секретаря. Длительное нахождение на «безгласной» должности (он занимался составлением журналов совета, т. е. отчетов о том, что говорилось во время заседаний) к этому времени стало для него причиной огорчения, грусти уязвленного честолюбия и самолюбия².

Поводом для записи стал созыв царем особого секретного комитета (для решения вопросов завершающейся в это время денежной реформы), точнее — приглашения в этот комитет некоего Гофмана. «Еще новый уничижительный удар в моей службе! — комментирует эту новость Корф, добавляя объяснения и жалуясь. — Таким образом, вчерашний мой непосредственный подчиненный будет завтра присутствовать, с равным прочим голосом, в таком собрании, где я остаюсь безгласным секретарем! И никто обо мне не заботится, не думает; сам Васильчиков прехладнокровно объявил мне об этом назначении, как будто бы я был для него человек посторонний, и *свой* только тогда, когда надобно кого-нибудь на трудовую работу»³ [Корф 1843: 61].

Корф попытался объяснить «удар» И. В. Васильчикову: он, Корф, «перенес терпеливо назначение министрами гораздо младших», а «завтра таким же образом могут быть министрами, тоже несравненно младше (...) Брискорн и Шихматов», он же остается «все тем же самым». Васильчикову, однако, доводы не показались весомыми, и Корф записывает их диалог напрямую: «“Помилуйте, да неужели же бы вы согласились поменяться местами с Гофманом?” — “Без сомнения: он не только хозяин самостоятельной части, равной со всеми, но и имеет личный доклад у Государя, — счастье, которое составляет конечную цель всей нашей службы”»⁴ [Корф 1843: 62].

Одна из самых откровенных записей на эту тему, цитата из которой внесена в заглавие статьи, тоже выражает горечь и печаль, специфически сочетающие государственное и личное: Корф опровергает «общее мнение, утвердившееся в публике», что он «какой-то *фаворит, государев любимец*». «А между тем, какие мои отношения к Государю? — размышляет он, — Наедине я видел его раза три или четыре в жизни, в публике он несколько не отличает меня от самых рядовых людей, удостоивая разве приветливым поклоном и редко, редко словом милости, тогда как он, передо мною и в глазах моих имеет длинные беседы с людьми несравненно ниже меня в должности, особенно с

² При этом, если верить записям того же Корфа о заседаниях Государственного совета, составлять вразумительные отчеты о них было делом мудреным, что признавали и сами члены этого совета. Так, граф А. Ф. Орлов после прочтения одного из журналов, написанного Корфом, сделал автору «комплимент»: «Ты братец, так расписываешь наши журналы, что Государь, чего доброго, подумает, что мы умные люди» [Корф 1840: 53].

³ Здесь и далее сохраняется курсив публикации.

⁴ Разрядка здесь и далее моя.

военными, наконец, награды от него непосредственно я не получал ни одной в жизни, кроме лишь благоволения, объявленного им мне в собственноручной резолюции (в 1831-м году) за успешное окончание старых дел Комитета министров...» [Корф 1840: 26–27].

Огорчение Корфа, возможно, несколько напоминает муки покинутого влюбленного: и здесь, и далее он использует язык личных отношений для описания поведения высшей власти, точнее, милостей и сменяющих их периодов холодности Николая I к своим ближайшим подданным. Порой создается впечатление, что выбор подобной лексики и описание иерархии властных отношений как личных — не прихоть и не субъективная интерпретация Корфа, а отражение, регистрация выбранной (сознательно ли?) Николаем стратегии поведения с подчиненными.

Например, Корф описывает праздничную пасхальную ночь 1840 г.:

В эту же ночь я воспользовался впервые правом подходить к целованию с Государем вслед за членами Совета, но это право на этот раз нанесло мне только огорчение. Передо мной шел Панин. Послед обычных двух поцелуев Государь заставил его целовать себя еще третий раз, пожал ему руку и сказал несколько приветливых слов. Но на мою долю досталось только два форменных поцелуя и холодный, полуотворенный взгляд [Корф 1840: 83].

Демонстрация нелюбви при исполнении ритуала, по мнению Корфа, может иметь негативные профессиональные последствия:

Подобная холодность, даже пренебрежение, которых не нахожу причин объяснить, когда дела во всем идут, как никогда не шли, когда все обязанности свои я исполняю с усердием (...) когда все это сам он ежедневно видит (...) естественно, наносит жестокую рану самолюбию, охлаждает жар к пожертвованию на службу сил и здоровья, разрушает всю поэзию и все очарование, без которых так грустно и безотрадно шествовать по нашей прозаической стезе [Корф 1840: 83].

Личные жесты «любви» со стороны монарха не только наделяют объект, на который эта «любовь» направлена, частью его власти, но также включают его в романтизированную область мифа, в котором находится (и который выстраивает) самодержец, тем самым возвышая этот объект, вырывая его из серой действительности.

Любовь царя подвигает и на особенное усердие в службе: позже, в первой записи 1849 г., Корф выражает надежду, что «высшие знаки милости возбуждают порывы угасшего честолюбия» [Дневник 1849. Л. 10].

Предельная сосредоточенность властных механизмов, принятия решений, управления государством и государственными сановниками в одной личности, в одном теле приводит к максимальной фиксации на нюансах непосредственных, личных взаимодействий с ближайшими подданными. Эти личные взаимодействия не только политизируются, но и мифологизируются (см.: [Уортман 2002: 336–543]).

Подобных лексики и манеры описания Корф придерживается в отношении не только себя, но и других подданных. Один из самых ярких в этом отношении эпизодов касается уже упоминавшегося выше И. В. Васильчикова. Корф, вернувшийся к исполнению своих профессиональных обязанностей после отпуска, в записи 11 октября 1840 г. рассказывает о служебной неприятности, произошедшей с «добрым моим Васильчиковым». Последний допустил такой промах, что «во всем городе, во всех классах говорят, что он оставляет свое звание, и что на его место назначается гр. Чернышев». Корфу «надо было добраться до источника этих слухов», и, добравшись, он передает в дневнике «эту историю в самом достоверном рассказе», сделав, как обычно, ссылки на источники полученной им информации. Вопрос касался внутренней политики: во время пребывания Николая I за границей «было очень много важных дел по Комитету западных губерний и в особенности одно, всех важнейшее, о распространении на сии губернии общих русских законов с отменой Литовского статута и конституций и со введением в производстве дел повсеместно русского языка» [Корф 1840: 113–114].

Эта идея «была схвачена и сильно поддержана Государем», однако Васильчиков «во всегдашнем своем попечении о благе России, в том смысле, как он его разумеет, с своей стороны, сильно сопротивлялся этой мере, считая ее во всех отношениях более вредною, нежели полезною, и долженствующею еще более ожесточить против нас неприязненные западные губернии»⁵. Васильчиков, разумеется, мог ожидать гнева царя из-за его несогласия, однако счел, что «для избежания этого нельзя жертвовать истинными выгодами России, которые в глазах его выше царской милости». По словам Корфа, Васильчиков «простер свое сопротивление до явной оппозиции», выразившейся, однако, лишь в «объяснениях» и «неприятных сценах» при подписании общего — согласного с решением царя — журнала Комитета. Неудовольствие Васильчикова стало «самым вожделенным подарком для его врагов, в главе которых стоит гр[аф] Чернышев» [Корф 1840: 114]: разумеется, об «оппозиции» председателю донесли царю.

Далее, также в отсутствие царя, тот же деятельный Васильчиков решил принять некоторые меры против «гибельных последствий неурожая», «жестоко поразившего» «самые плодородные наши губернии». Так как переписка с царем заняла бы много драгоценного времени, Васильчиков «признал нужным составить у себя совещание из министров», где «были положены на меру некоторые распоряжения», о которых и сообщили царю вместе с объяснениями причин такой «решительности» [Корф 1840: 114]. Это решительный шаг показался Николаю чем-то вроде узурпации власти; кроме того, на совещание

⁵ Схожим соображением руководствовался и сам Корф при написании манифеста в марте 1848 г.: вариант манифеста, написанный царем и в итоге опубликованный («Высочайший Манифест о событиях в Западной Европе»), содержал, по мнению Модеста Андреевича, несколько не совсем ясных фраз, которые, как он справедливо предполагал, будут неверно поняты иностранными читателями: «...иное в произведении Государя представляется как бы вызовом к войне, другое как бы напрасным указанием на угрозы, которых нет еще нам ни с какой стороны, третье, наконец, изъявлением надежды на победу, когда нет еще в виду никакой брани» (цит. по: [Волошина 2022: 321]). Надо полагать, подобные соображения о негативном общественном отклике на властные заявления и меры никоим образом не беспокоили самого Николая, в отличие от его ближайшего чиновничьего окружения.

не был приглашен Ф. П. Вронченко — товарищ министра финансов (министр Е. Ф. Канкрин в это время отсутствовал).

Корф проникательно реконструирует рецепцию царем действий Васильчикова (разумеется, проблемы голодающих и пострадавших от неурожая теперь не входили в повестку: дело касалось высшей власти, почувствовавшей угрозу оппозиции и не собиравшейся ее терпеть). Самостоятельность Васильчикова «могла показаться Государю прикосновением к его власти, чем-то вроде “*gouvernement provisoire*”», отсутствие же приглашения Вронченко должно было «утвердить его в мысли об упрямой оппозиции». Николай ответил Васильчикову сухо, по возвращению созвал всех министров без него и создал для обсуждавшегося дела особый комитет, назначив председателем графа А. И. Чернышева. Очевидно, карьере Васильчикова пришел конец: свидетели передали Корфу, что «никогда не выдывали князя столько расстроенным, не было речи ни об чем другом, как об отставке» [Корф 1840: 115].

Николай выждал несколько дней, чтобы провинившийся Васильчиков осознал всю меру вины, пригласил его в Царское Село «обедать, и тут, кажется, последовала сцена примирения». Гроза минула, и Васильчиков остался на своем высоком посту. Однако тонко чувствующий и точно анализирующий показания властного барометра Корф с грустью констатировал: если бы любимый председатель и патрон «спросил о моем *желании*, то, конечно, я отвечал бы не запинаясь, чтобы он оставался, но если бы он спросил *совета*, то ответ мой, столь же несомненно, был бы отрицательный» [Корф 1840: 116].

Здесь важно, что отставка Васильчикова, явно благоволившего Корфу, была бы для последнего серьезным огорчением, однако дальнейшее занятие этого поста было едва ли лучшим решением.

Интересно, что в объяснение этого парадокса Корф применяет «интимную» лексику:

...уже единожды нарушена *девственность* его (Васильчикова. — С. В.) отношений к Государю. <...> Наскучив ему своими частыми прикосновениями, потеряв его дружбу, он даже и в своих понятиях должен считать себя лишенным всякой возможности быть далее полезным России и общему благу... [Корф 1840: 116].

Таким образом, «польза России» и «общее благо» заключаются вовсе не в стремлении оперативно решить создавшуюся проблему и улучшить условия жизни подданных, не в деятельном желании учитывать их интересы и поддерживать положительный имидж высшей власти, но в сохранении хрупкого баланса личного отношения с самодержцем, ценности «девственности» интракций с ним.

Слово, выбранное Корфом, не случайно: в одной из более поздних записей, от 16 октября того же 1840 г., он вновь отмечает: «повторяю, *девственность* прежних отношений *единожды* нарушена», и если «Государь уважает и ценит Васильчикова, как благородную и возвышенную душу», то «едва ли уже его *любит*, по крайней мере, не любит так, как прежде» [Корф 1840: 120–121]. Здесь лексика Корфа вовсе отходит от описания платонических отношений с властью к более тесным, интимным. Подданный не может создать «общее благо» при отсутствии государевой к нему, подданному, любви.

Корф фиксирует частоту, длительность встреч с царем (особенно происходивших наедине) и, разумеется, его настроение и жесты. Так, в 1851 г. «често- и властолюбивый обер-прокурор» Синода граф Н. А. Протасов «воспользовался одним личным докладом своим у Государя, чтоб исходатайствовать объявленное нам <...> высочайшее повеление» [Дневник 1851. Л. 41 об.–42]: речь идет о своеобразном клоне Секретного комитета, созданного 2 апреля 1848 г. при Святейшем синоде для просмотра и проверки книг духовного содержания⁶.

29 декабря 1849 г. Корф с грустью записывает: «Для меня Царскосельские времена нынче уже прошли и я вижу Государя, невидимый для него, только при общих выходах...» [Дневник 1849. Л. 322 об.].

Важно отметить, что Корф почти никогда не приводил описаний снов, но редчайшие исключения из этого правила включают образы царя. «Я видел сегодня странный и страшный сон. Государь после короткой и жестокой болезни внезапно умер», — и Корф во сне «плакал о кончине» своего «благодетеля» [Корф 1843: 109].

Любовь, тепло этого мира и, соответственно, грусть и холод от его отсутствия сосредоточены в центре власти — Николае I, в котором оба «тела короля», вопреки известной концепции Э. Канторовича, совмещаются.

Резюмируя свои отношения с царем, точнее источник милостей к Корфу со стороны высшей власти, автор дневника заключает: «...все шло и идет от лучей, а не от солнца, которое светит на меня совершенно наравне с другими точно так же, как солнце вещественное греет с равным и безотчетным равнодушием всю природу!» [Корф 1840: 27]. Тут, впрочем, Корф противоречит своим же записям: его грусть происходит именно от того, что царь-«солнце» греет его не наравне с другими, менее (по мнению Корфа) достойными.

Еще одно средоточие тепла и любви, если пока не силы и власти, находится (разумеется, в меньшей степени) в наследнике Александре Николаевиче. В феврале 1849 г. Корф описывает аудиенцию у наследника, после которой он вновь грустит от отсутствия должной меры ласки и жестов, ее выражающих:

Аудиенция была милостивая, но только в обыкновенном, официальном смысле слова; по крайней мере мне показалось, что не было той радушной, приятной теплоты, которая в прошлом году отличала отношение Наследника ко мне. Пожатие руки, разумеется, было, но не было поцелуев, которыми прежде всего почти оканчивались, а нередко и начинались наши свидания. Душа моя и совесть чисты. Я в эти отношения принес все что от меня зависело: искреннюю готовность, до самопожертвования, и добросовестный труд, вместе с беспредельною преданностью и самою чистою любовью [Дневник 1849. Л. 53 об.–54].

⁶ Далее в той же дневниковой записи М.А. Корф поясняет смысл «высочайшего повеления»: «...в видах строгого по духу Православной церкви наблюдения за всеми действиями Духовной Цензуры, учредить, применительно к учреждению Секретного Комитета 2 апреля 1848-го года, такой же Комитет при Св. Синоде, с тем чтобы Комитет 2 апреля ограничивался просмотром одних книг недуховного содержания...» [Дневник 1851. Л. 41 об.–42].

* * *

Разумеется, причиной грусти для Корфа было не только равнодушие «солнца» к подданному. Корф грустил и из-за исключительно личных, семейных несчастий, в первую очередь — из-за болезней и смертей близких родственников.

Сама семейная жизнь Корфа была устроена «герметически» и почти не имела точек соприкосновения с его социальной сферой. Корф был женат на своей «вдвойне» двоюродной сестре: их матери были родными сестрами, а отцы — родными братьями, что делало семейные связи менее разветвленными, а семью в широком смысле — более замкнутой⁷. Корфы не давали приемов, разве только для самого ближнего круга, и социальные игры высшего света и высшего чиновничества никак не затрагивали внутрисемейных отношений⁸. Возможно, именно эта прочность семейного круга и крепкие семейные узы (Корф, судя по дневниковым записям, был прекрасным семьянином и попечительным отцом) в определенной мере объясняют его манеру описания светских любовных похищений, любовных прихотей, интимных драм и даже смертей. Даже самые трагические (в записях Корфа — трагикомические) истории не воспринимаются им как причина для грусти, а вызывают лишь острое, но холодное любопытство — любопытство энтомолога и стороннего наблюдателя страстей человеческих.

Именно такое отношение видно и в многочисленных описаниях смертей, будь то смерти от старости, болезней, самоубийств, неудачных родов и т. п.

Такова запись о самоубийстве витебского гражданского губернатора П. П. Львова («Причина этому довольно скандальная», — сообщает Корф, прибавляя действительно скандальные подробности). Заключает же он трагическую новость безэмоциональной констатацией:

В сильном припадке такой ярости он покусился даже было резать свою жену, а когда его к сему не допустили, то он застрелился. В таком виде донесено об этом происшествии и Государю [Корф 1840: 55 (запись 11 марта)].

Более того: записи о болезнях и окончании профессионального и жизненного поприща недоброжелателей Корфа порой носят и вовсе нехристианский, почти торжествующий характер, не имеющий ничего общего с печалью.

Например, в дневнике 1849 г. описана болезнь министра народного просвещения С. С. Уварова: в сентябре «разбило параличом, с отнятием целой стороны, министра народного просвещения графа Уварова, и хотя он еще жив, но мало надежды на спасение». Далее Корф откровенно описывает свое отношение к этому несчастью:

⁷ См., например: [Корф 1840: 94].

⁸ «Кроме семейства и близких знакомых, которые посещают нас без зову, мы почти никого никогда к себе не приглашаем, и не только по одним видам финансовым, но и потому, что при моих отношениях и моем круге знакомства нам надобно звать или весь высший свет или никого, и потому что моя Олинька сама почти никуда не выезжает...» [Корф 1840: 32].

...смерть его я не почту отнюдь потерей ни для государства, ни для человечества. Если и был у него когда-нибудь свой век, то он давно уже его пережил, точно так же, как пережил и милость... [Дневник 1849. Л. 223–223 об.].

(В скобках отмечу, что здесь вновь фигурирует царская «милость» как смысл жизни подданного.)

Абсолютное большинство подобных записей касаются смертей высоких придворных, духовных и министерских чинов, и Корф почти неизменно следует заведенному им самим алгоритму повествования. Сначала он описывает «физиологическую» составляющую болезни и смерти, нередко добавляя макабрических, но оттого не менее интересных ему (или же именно поэтому интересных) подробностей. После «физиологической» части Корф переходит обычно к части «социологической», где описывает прежде всего процесс похорон: отслеживается последовательность (или ее нарушение) всех ритуальных жестов, присутствие или (что более заметно) отсутствие высших государственных чинов (прежде всего царя и великого князя Михаила Павловича), их поведение. Потом автор переходит к анализу деятельности почившего и его достижениям на государственном поприще (чаще всего они оказываются как минимум недостаточными, а сам умерший — недостойным высокого поста, занимаемого при жизни). Последней частью этих некрологов предстает описание тех изменений на социальном, т. е. придворном и чиновничьем поле, что произошли со смертью указанного лица, размышление о перераспределении «социального капитала» между оставшимися в живых и возможных кадровых перестановкам. Здесь Корф упоминает все те скрытые от постороннего взгляда сведения — связи, личные симпатии и антипатии, отношения Николая I (способные изменяться неожиданно и драматично), поддержку определенных «партий»; описывает тонкую сеть дипломатического дискурса, связывающего всех действующих вокруг царя лиц.

Таким образом, нечто глубоко личное, человеческое — смерть — для Корфа становится фактором игры на социальном поле, но не поводом для скорби. На этом поле Корф неизменно играет двойную роль: и включенного наблюдателя, и действующего лица, стремящегося к победе над конкурентами. Здесь, как представляется, уместно применить известное определение Карла Шмитта: «Специфически политическое различие, к которому можно свести политические действия и мотивы, — это различие *друга и врага*» [Шмитт 2016: 301].

После экстенсивного чтения записей Корфа создается впечатление, что для него вся жизнь, за исключением тесного семейного круга и его событий, относится к области политического. И именно эта область представляет для него самый насущный, самый жгучий личный интерес.

Все «действующие лица» социального поля, а значит, и дневниковых записей, делятся Корфом на друзей и врагов. К друзьям относятся, в первую очередь, его покровители, высшие чиновники, способствующие его продвижению по карьерной лестнице. Это, например, М. М. Сперанский, о смерти которого Корф писал с искренней грустью, хотя и в несколько официальных выражениях:

Оба мы вместе (с И. В. Васильчиковым. — С. В.) чувствуем в полной мере неизмеримую потерю, которую грозит России смерть Сперанского <...> С ним угаснет предпоследний *гений* в России, говорю *предпоследний*, потому что мы имеем еще Канкрин... [Корф 1838–1839: 180].

Помимо смертей покровителей предметом огорчения Корфа становятся не единичные смерти, а «статистическая», «массовая» смертность. Корф регулярно приводит в дневниках списки высоких сановников, умерших за единицу времени.

Например, в начале 1840 г. он записывает:

...оглядываясь только на те два года, которые я веду мой дневник, и только на одну нашу Россию, сколько растеряли мы в это время знаменитостей, или, по крайней мере, известностей <...> С февраля 1838-го года я внес в летопись смерти: *из государственных сановников*: Новосильцева, Сперанского, Дашкова, Литту, Лобанова-Ростовского, Родофиникина, Кушников, Ливена, Рожнова, Тутолмина [Корф 1840: 15].

Далее Корф продолжает перечисление умерших, разделив их также по чиновному, профессиональному признаку, либо по родовитости: «из людей не столько значительных, но занимавших тоже более или менее важные посты», «из знатных баричей», «из знатных или известных дам», «из поэтов и литераторов», «из артистов», «из значительных духовных особ» [Корф 1840: 15].

Грусть Корфа здесь социологическая: Россия лишается чиновничьей и профессиональной элиты, и это печально. В такие списки очень редко попадет кто-то извне выше-чиновничьего круга: здесь вновь личное и государственное для Корфа неразделимы.

Совершенно объяснимо одна из самых обширных и проникновенных записей о смерти относится к кончине члена царской фамилии — великого князя Михаила Павловича. 2 сентября 1849 г. Корф пишет о его смерти как о смерти самого близкого человека:

Тяжко рука моя поднимается записать смерть благороднейшего, преданнейшего, ревностнейшего к своему долгу из людей.... 28-го августа, в число своего рождения (28-е января), ровно 51-го года и 7-ми месяцев от рождения, почил в Бозе государь великий князь МП, младший из четырех внуков Екатерины и сыновей Павла... мое бедное сердце мятется среди этого общего равнодушия [Дневник 1849. Л. 212–212 об.].

Редким примером огорчения от смерти «друга» может служить запись о кончине графини М. Д. Нессельроде (от 17 августа 1849 г.). Эта запись весьма показательна для манеры Корфа и его восприятия личного и общего. Прежде всего он обозначает титул почившей Нессельроде, все родственные связи с государственными лицами, а ее личные качества описывает принципиально без прикрас. Причину же своего огорчения автор связывает с несбывшимися

надеждами на ее покровительство, т. е. на действия все в том же социальном поле (примечательно, что в этом своеобразном некрологе Корф использует выражение «социальное поведение»).

И с графиней Нессельроде я лишился истинного и надежного друга; и ее смерть была для меня поразительным ударом! Статс-дама и Кавалерственная дама графиня Марья Дмитриевна Нессельроде, супруга Государственного канцлера, дочь покойного министра финансов графа Гурьева и сестра члена нашего Государственного совета, графа Александра Дмитриевича, по уму своему, просвещению и необычно твердому, железному характеру, была, конечно, одной из примечательнейших, а по социальному своему поведению и влиянию на высшее петербургское общество, одною из значительнейших и даже самою значительнейшею из наших дам <...> Как вражда ее была ужасна и опасна, так и дружба неизменна, заботлива, охранительна, нередко даже до пристрастия и ослепления. Совершенный мушкетер по характеру, впрочем, частью по занятиям, даже по наружности <...> и самый разговор ее вращался всегда в предметах, выходящих из круга обыкновенных дамских бесед. Она любила говорить о высшей администрации и политике — более, однако, внутренней, чем внешней, чтоб не компрометировать своего мужа, — о государственных наших людях, о новых книгах по государственным предметам, о действиях правительства и вновь выходящих постановлениях, соединяя в себе, впрочем, две противоположности: беспредельную преданность не только монархическому началу, но и царственному нашему дому, и вместе взыскательную оппозицию против всех правительственных распоряжений и даже личных действий его членов <...> Салон графини Нессельроде, со смерти князя Кочубея, был, без сомнения, первым в Петербурге; попасть в него, при его исключительности, было чрезвычайно трудно, удержаться в нем, при разборчивости и чрезвычайной гордости хозяйки, почти еще мудренее; но кто принадлежал к нему, тому это служило уже открытым паспортом во весь высший круг <...> Потеря ее (графини Нессельроде. — С. В.) несказанно меня тронула, и тронула тем более, что я намеревался наступающею зимою поручить под сильное ее покровительство нашу Marie (дочь Корфов. — С. В.), при вступлении ее в свет [Дневник 1849. Л. 200–201 об.].

Абсолютное же большинство остальных Корф определяет как врагов — т. е. напрямую так их не называя, но характеристики их столь очевидны и непротиворечивы, что сомнения в отношении к ним Корфа не остается. Победы врагов — и тактические, и стратегические — становятся для него одной из основных причин грусти, тоски и порой даже отчаяния.

* * *

Предметом серьезных огорчений Корфа выступают и политические события, в большей степени — европейские революции 1848 г. Здесь автор дневни-

ков выступает в полной мере человеком государственным, воспринимающим политическое как личное.

Запись от 5 марта 1848 г. свидетельствует о тяжелом душевном состоянии Корфа: ему даже кажется, что на фоне новостей из Франции движения русской государственной машины могут быть лишены смысла.

Во внешнем движении машины все, по крайней мере до некоторой степени, идет по-прежнему: и разводы, и заседания Совета, и дела, и бумаги, и работа Министров; а между тем так и хотелось бы, какжется, спросить: продолжать ли все это...? Страшные вопросы, от которых душа замирает! Все ли, или многие так думают? Бог знает; но знаю, что мои личные чувства самые тягостные, что и никогда не испытывал ничего подобного, по крайней мере в этом роде. Боже, храни Царя! В этом желании, в этой молитве соединяются все желания и молитвы, какие только могут наполнять преданную благу России душу [Дневник 1848. Л. 141 об.].

Горе Корфа вызывают и новости об открытом обществе М. В. Петрашевского, и причина этого горя — осознание, что «царелюбивая Россия» оказалась подвержена западной заразе. 25 апреля 1849 г. Корф записывает:

Но что гораздо еще более занимает в эту минуту Петербург, нежели все военные приготовления, это разнесшаяся как молния по целому городу весть об открытом у нас самих заговоре. К России, преданной, покорной, царелюбивой России, тоже прикоснулась — страшно, больно и как-то оскорбительно, даже унижительно выговорить — гидра нелепых и преступных мечтаний Запада.

Сокрушительное действие революций, поведших доселе везде к одному расстройству и разрушениям, без тени лучшего к общему благу, не устрасила наших безумных слепцов [Дневник 1849. Л. 109].

Впрочем, в конце этих горестных заметок Корф обычно приписывает нечто утешительное:

Как, при всякому подобном случае, сердце изливается от благодарности к Богу, что у нас такой Государь... Как спокойны мы с таким кормчим во всякую бурю... [Дневник 1849. Л. 110].

* * *

Возвращаясь к мировоззренческой иерархии мира Корфа, ее центру и источнику всех возможных благ — императору, — можно легко обозначить одну из основных причин его, Корфа, огорчений, — несправедливому, с его точки зрения, распределению и распространению этих благ среди высшего чиновничества.

Корф довольно часто сетует на «скудость» в людях, т. е. в кандидатурах на высшие государственные посты. Так, жалуясь на «одряхление» Государственного совета, т. е. на значительный средний возраст его членов, автор грустит

по поводу и уровня их интеллекта, и подготовки новых кандидатов. В октябре 1840 г. он пишет, что двое из предложенных Васильчиковым «поспорят в ничтожности с тем, что сидит теперь в Совете», а еще двое — «сенаторы Бутурлин и Демьян Кочубей — люди с некоторым дарованием, но, как слышно по Сенату, страшные и часто напрасные спорщики» [Корф 1840: 127].

В дневниках Корф нередко приводит подробный анализ новых наград, назначений и оценки заслуг их бенефициаров, размышляет о жестах милости со стороны власти, комментирует их символическую значимость и вес. И в этом отношении записи Корфа — ценный материал для изучения отечественных властных механизмов.

Так, 29 августа 1849 г. он делает обширную запись о новых награждениях:

Князю Чернышеву дан титул светлости, и это должно, конечно, признать совершенно в порядке <...> Графу Орлову дан Государев портрет. Хотя и трудно было, в прежние времена, предвидеть, чтобы Орлов достиг когда-либо этой высшей государственной награды, и хотя я лично считаю Орлова человеком более у нас вредным, нежели полезным; но если взять в соображение, что Государь, с своей стороны, смотрит на него, вероятно, совсем иначе <...> Но что составляет совершенную уже неожиданность, я думаю и для самого получившего, это пожалование графу Адлербергу — Андрея. Главноначальствующий над Почтовым департаментом, где все делает за него директор Прянишников; человек честный и добрый, но без всякого дарования, без всякой умственной высоты, без науки и почти без слова, притом один из младших генералов от инфантерии и, за исключением гр. Панина, самый младший из всех министров — этого для него шага — по крайней мере теперь — никто еще предвидеть не мог. И какая же, кроме приязни к нему Государя с детства, была — говорят — в нынешнее время особенная его заслуга? [Дневник 1849. Л. 210–211 об.].

Примечательно, что здесь Корф вкладывает свои сомнения и недовольство в некие чужие уста: ему важно отметить даже в личном дневнике, что это включенная чужая речь, иное, множественное, а значит, объективное суждение о царских наградах лиц недостойных.

Подобные часто встречающиеся записи об отсутствии принципа меритократии в распределении государственных должностей и наград свидетельствуют о явном внутреннем конфликте у автора дневников: с одной стороны — талант, честолюбие, тонкий государственный ум, дипломатические, аналитические способности, с другой — относительно неуспешная (с точки зрения самого Корфа) государственная карьера. В переводе на язык властно-подчиненных отношений, любовь царя к Корфу была, возможно, не так сильна, и в ней наличествовал некоторый садистический элемент (проявлявшийся, как можно предположить, не только в отношении Корфа). Неудивительно, что приступы грусти и тоски в дневниках Корфа совпадают с периодами его длительного «застоя» на одном и том же посту, без повышений и наград (или с такими, что не соответствовали его трудам, талантам и выслуге лет).

Тональность дневников 1838–1840 гг. отличается от более поздних — 1848–1850-х годов. Корф предстает человеком неизменно наблюдательным, умным, в записях первых лет — разносторонне любопытным и открытым для всевозможных впечатлений, которые может представить высшее бюрократическое и аристократическое общество. Со временем же, и особенно это заметно в дневниках конца 1840-х годов, «чиновничьей» грусти становится все больше, и она приобретает ощутимо ядовитый и мрачный оттенок. Такова, например, запись от 26 августа 1849 г., после возвращения из отпуска в Ревеле:

...к чему я теперь отсюда возвращаюсь? К такому кругу, в котором нет почти деятельности, к инвалидной должности члена Государственного совета, к другой, противной моим вкусам и даже правилам должности члена Ценсурного Комитета! Что мне тут предстоит? Где и как принести лепту на службу Царю и родине? Чем быть полезным в настоящем, какой оставить след в потомстве? Скучные прения в Совете по делам большею частию второстепенным и часто совершенно ничтожной важности, прения, в которых участвует почти одно тщеславие и к которым притом я должен приступать под влиянием явного нерасположения ко мне князя Чернышева; еще более скучные и ничтожные занятия по Ценсурному Комитету, где мы делаем чужое дело и притом все это дело состоит в нагонях какому-либо глупому цензору, или вздорному писаке — неужели этим, в 49 лет, при восстановившемся теперь моем здоровье, при некоторой способности, при 32-х летней опытности, при неостывшей еще охоте трудиться и быть полезным, наконец при всех моих предшествовавших и среди окружающих нас ничтожностей — неужели одним этим печальным кругом должна ограничиться навек моя будущность..? [Дневник 1849. Л. 208–208 об.].

Надо отметить, что социальное и профессиональное настолько глубоко проникли в Корфа, что вдали от двора, Петербурга и высшего чиновничества Корф не мог быть и счастлив. Например, 20 августа / 1 сентября 1840 г., находясь в Триесте, он записывает:

Ожидаемые наслаждения (от поездки в Европу. — *С. В.*) заменились охлаждением, скукою, блазировкою, смертельною тоскою по отчизне... Подобно тому, как прежде я рассчитывал минуты отъезда из Петербурга, так точно теперь в гнетущей тоске не могу дожидаться часа возвращения⁹ [Корф 1840: 90].

(Интересно, что утешение в этой поездке приходит со встречами и общением с видными чиновниками и членами царской семьи [Корф 1840: 91–92].)

Более того: даже находясь в отпуске, Корф продолжает выполнять свои служебные дела при отсутствии таковых, вероятно, пытаясь отвлечься от вынужденной разлуки с придворным и чиновным миром и вернуть душев-

⁹ Здесь можно отметить явное влияние прозы Н. М. Карамзина на стиль Корфа; и его записи в целом, и заметки о путешествиях в частности свидетельствуют о склонности автора к сентименталистской литературе.

ное равновесие (законной частью которого выступает и «государственная» грусть). Отсутствие привычных служебных обязанностей оказывается гораздо хуже, чем огорчения, ими причиняемые. 28 августа 1849 г. он записывает:

В газетах напечатан теперь Манифест о потушении Венгерского мятежа и о возвращении наших войск. За несколько дней перед тем, я, в здешнем моем безделии, написал такой же Манифест. Прилагаю к этим листам оба: и настоящий, и мой, никем невиданный скромный проект. Первый написан, очевидно, самим Государем и едва ли кем исправлен, как заключаю особенно по конструкции первого периода [Дневник 1849. Л. 210].

Можно предположить, что честолюбие Корфа было ранено еще в марте 1848 г., когда, выполнив ответственное поручение Николая и написав проект манифеста, Корф обнаружил, что манифест написал и сам царь и именно последний вариант будет (и действительно был) опубликован и оглашен.

* * *

Один из основных источников горестей связан с явными амбициями Корфа, мечтавшего о том или ином poste министра, однако почти никогда в этом не признававшегося. Возможно, это демонстрируемое отсутствие честолюбия — будь оно частью сознательно выстраиваемого образа честного чиновника или же лукавством — стало одним из препятствий в его повышениях по службе.

9 марта 1839 г. Корф записывает свой разговор с министром финансов графом Е. Ф. Канкриным, где горячо убеждает последнего: разговоры «в городе» о том, что его назначают товарищем министра, — не более чем «нелепый слух», этот пост находится вне корфовского «круга желаний» [Корф 1838–1839: 300–301].

Товарищем министра финансов Корфа не сделали, но позже, в том же 1839 г., молва стала прочить его в новые министры юстиции (14 октября он перечисляет в дневнике, кто именно из сановников говорит о его предполагаемом poste, и с особенным удовольствием добавляет к ним Канкрин, считавшего, что назначение это «было бы очень желательно, несмотря на мою молодость» [Корф 1838–1839: 458]).

18 октября 1839 г. Корф записывает свой разговор с председателем Государственного совета князем Илларионом Васильевичем Васильчиковым:

Вчера я объяснялся с Васильчиковым насчет слухов о моем перемещении. Он принял вид, будто бы до него ничего еще не доходило, хотя это едва ли вероятно. После уверений моих, что я с моей стороны нисколько не содействовал распространению подобного слуха и что я весьма доволен и нынешним моим положением, князь отвечал почти со слезами, что всякое мое перемещение было бы для него ударом: ибо решительно не может представить себе, кем и как меня заместить, но что при всем том, он, конечно, никогда не стал бы противиться моему повышению и готов бы был ему содействовать для личной моей и общей пользы <...> На это я заметил, что место Даш-

кова нимало не соответствует моим склонностям и вкусам и сколько посему, столько и по недостатку высших теоретических познаний я бы никак не согласился его принять <...>

После разных возражений <...> князь сказал мне, что во всяком случае очень рад нашему объяснению: «По крайней мере, — прибавил он, — зная теперь нежелание Ваше принять эту должность, я воздержусь от всякого напоминания Государю о прежней его мысли: ибо, иначе думая сделать Вам приятное, я мог бы Вам, напротив, при Вашей точке зрения, повредить». Я кончил эту беседу тем, что должность министра юстиции, конечно, была бы для меня весьма лестна, но что если бы имелось в виду какое-нибудь другое мое перемещение, то я лучше всего желал бы сохранить теперешнее мое положение [Корф 1838–1839: 460–461].

Однако, судя по записи 18 декабря 1839 г., дело обстояло совсем иначе: новым министром назначили Д. Н. Блудова, а управляющим министерством — В. Н. Панина, и Корф был весьма огорчен.

Мои личные надежды или, лучше сказать, предсказания на мой счет публики разлетелись как прах, и я не скрою о том сокрушения: это одно министерство, которое льстило моим видам, подобного случая уже не откроется, и следственно моя служба решена: или оставаться вечно госуд<арственным> секретарем, или кончить званием члена Совета! Я не имел прямых надежд, но при скудости нашей в людях считал себя в некоторых правах, особенно по сравнению с Паниным, и как нисколько бы не скорбел, если б министерство поручено было человеку старше и выше меня летами, званием, заслугами, достоинствами. В самом деле не нужно других доказательств decadence нашего времени, как эти два замещения: Блудов на место Сперанского и Панин на место Дашкова! [Корф 1838–1839: 498–499].

Возможно, дипломатический ход Корфа, не считавшего хорошим тоном демонстрировать свое желание повышения, был ошибкой.

Печаль и разочарование, досада на назначение на пост В. Н. Панина, но не его, Корфа, не проходили и в следующем, 1840 г.

19 января он с явной горечью пишет об успехах Панина и анализирует свои чувства:

Я поистине и в глубине своего сердца не нахожу никакого чувства зависти Панину и рад добросовестно содействовать ему во всем, что от меня зависит <...> Иногда даже я радуюсь, что меня оставили на моем месте и предпочли мне Панина.

Объяснение этой «радости», впрочем, печальное и пораженческое: «В теперешнем моем положении я — не хуже других; я тут обжился, привык и ко мне привыкли» [Корф 1840: 24].

Более проницательным наблюдателем здесь выступила жена Корфа Ольга Федоровна, заметившая в «небольших стычках» мужа с В. Н. Паниным «следы “fiel”»¹⁰. Эти «следы», цитировал жену Корф, запали якобы «в мое сердце от назначения в министерство юстиции его, а не меня. Не думаю, но, может быть, этим *недуманием* я сам себя обманываю» [Корф 1840: 78]. Пожалуй, это единственное (квази)признание Корфа в собственном ресентименте.

Еще одной чиновничьей мечтой Корфа был пост министра народного просвещения. В записи от 11 июня 1838 г. он отметил, что «не совсем был бы бесполезен» в двух министерствах: «юстиции и народного просвещения» [Корф 1838–1839: 135]. И вполне естественно, что одним из основных источников грусти — периодически доходящей до ярости — для Корфа становится действующий (с 1833 по 1849 г.) министр народного просвещения С. С. Уваров.

К началу 1848 г. Корф полностью погрузился в чиновничьи драмы: описания и анализ минибитв и микропоединков на высокочиновничьем, околоимператорском поле становятся в его дневниках особенно подробными.

С началом французских событий февраля и марта 1848 г. мир, казалось, находился под угрозой, и масштаб описываемых Корфом событий становится более крупным, равно как и его амбиции. Революции в Европе и реакция на них в Российской империи актуализируют его давние латентные мечты — о министерском кресле, и эта надежда заставляет Корфа не столько горевать, сколько действовать. В марте 1848 г. Корф подает записку о скверном состоянии цензуры в ведомстве Министерства народного просвещения, в надежде на то, что Уваров утратит министерский пост¹¹. Уваров, однако, остался на посту министра, Корфа же включили в новообразованные комитеты по надзору над цензурой, сначала один — Меншиковский, потом второй — Бутурлинский, что стало причиной его большой грусти и тоски на протяжении всего мрачного семилетия.

Особенным горем стала новость о создании второго, Бутурлинского комитета. 23 марта 1848 г. Корф записывал:

При этой вести меня поразил такой ужас... и притом ужас не только за самого себя, но и за Государя. Как в эту минуту, Ему привлекать к непосредственному своему ведомству часть такую гнусную, такую, можно сказать, презренную, какова ценсура, всегда предполагающая приостановление развития умственной в народе деятельности! С другой стороны, говоря о моей личности, что бы меня тут ожидало? При самонаименовании, вероятно, части пользы в результатах, ни чести, ни славы, ни видов в будущем, с подчинением еще, после самостоятельного моего положения, Бутурлину, отчасти даже Дегаю: ибо оба старше меня в чине и, будь ли отделение или комиссия, всегда в главу всего и в непосредственном сношении с Государем станет Бутурлин, а я буду в положении самом подчиненном. Мерзость и отчаяние — думал я, и между тем не находил средство отвратить от себя грозящую беду [Дневник 1848. Л. 165–165 об.].

¹⁰ *Fiel* (фр.) — желчь, горечь.

¹¹ Подробнее об этом см.: [Волошина 2022: 347–362].

Через несколько дней, 3 апреля 1848 г., Корф добавляет, что новое назначение и занятие в комитете

...повергает меня истинно в уныние <...> И какое еще занятие? Убивать свое время над нашими гнилыми и дрянными журналами, работать <...> как канцелярскому чиновнику, без славы и видов, и наконец, полагать всю цель свою в том — ибо такова точно цель комитета — чтоб быть донощиком и останавливать умственное в отечестве своем развитие... В глазах Государя, все это, разумеется, представляется совсем в иных красках: назначение это он считает, без сомнения, знаком великой милости и особенного доверия... [Дневник 1848. Л. 172 об.].

Корф горюет и за царя, с именем которого будет связана такая, с одной стороны, мелочная, с другой — неприятная и непопулярная вещь, как цензура, и за себя: карьера не идет вверх, а он подвергается опасности чиновного — т. е. для Корфа личного — унижения, и все это при отсутствии приватного доклада царю.

Интересно, что одной из причин печали, а также невозможности отказаться от неприятной должности, Корф называет «бедность». Жизнь высокопоставленного семейного чиновника в Петербурге обходилась дорого, и Корф порой с трудом сводит семейный бюджет.

...как не пожаловаться в тысячный раз на горькую бедность, которая мешает мне не только все бросить, но даже и объяснить о причинах моего недовольствия? [Дневник 1848. Л. 173].

С. С. Уваров все же вынужден был оставить пост министра в 1849 г., но падение врага принесло Корфу новые печали. Царь долго не назначал нового министра, и на его место прочили или В. А. Перовского, или Н. Н. Анненкова, но чаще всего снова Корфа, который подробно записывает слухи о своем назначении (среди прочих о нем говорили и министр внутренних дел, и вдова великого князя Михаила Павловича, и граф А. Ф. Орлов — в пересказе П. А. Клейнмихеля: Корф, конечно же, дает точные ссылки на источники информации и слухов). Из-за ожидания поле высшей власти казалось наэлектризованным: решение царя было сложно предсказать, и от выбора той или иной фигуры, как обычно, зависело усиление одних лиц и ослабление других.

К началу декабря терпение Корф стало иссякать, и он тосковал, подозревая худшее:

6-е декабря уже прошло, а Министра Народного просвещения — все еще нет. По этому длинному междуцарствию, все более и более становится вероятным, что Министром останется, или будет, нынешний Товарищ князь Ширинский-Шихматов <...> изувер и святоша <...> муж старой девы, урожденной Писемской, самого скверного тона, притом еще полусумасшедшей и крепко испивающей. Как это все <...> выкупаемо никакими высшими достоинствами, прекрасно идет к Министерскому портфелю первой Монархии в мире! [Дневник 1849. Л. 306 об.—307 об.].

Долгое молчание Николая I по поводу имени нового министра народного просвещения кажется сознательной стратегией самодержца: в этом ожидании все придворные, министерские и высшие бюрократические силы находились в состоянии тревожного внимания и пристального наблюдения друг за другом.

Официальное назначение Ширина-Шихматова министром все же состоялось 27 января, и измученный ожиданием Корф выражал в дневнике грусть только по поводу недостойного выбора государственного служащего. «Во мне болит тут чувство русское, чувство человека, сердечно преданного Государю и не могущего быть равнодушным к выбору его наперсников и орудий», — записывал он 29 января 1850 г. [Дневник 1850. Л. 28 об.].

Сил Корфу хватило теперь только на спасение своей чиновничьей чести: будучи директором Императорской публичной библиотеки, он должен был подчиняться министру, который был ниже его в чине, — унижение нестерпимое. Проблема эта чуть позже была решена, чиновничье самолюбие было спасено, и видимо, до начала нового правления Корф больше не питал надежд на серьезные изменения в карьере.

* * *

М. А. Корф, будучи проницательным наблюдателем, прекрасным социологом власти, бытописателем и аналитиком событий, практиком и сценариев в высших властных структурах, в качестве агента на социальном поле выступал не самым успешным образом, что, собственно, и было одной из главных его причин грусти. Чтение дневников Корфа позволяет сделать предположение, что вдохновение для своих обширных и эмоциональных записей он черпает в сочетании и балансе двух сил: грусти, в том числе ressentiment от неудавшихся карьерных взлетов, а также надежды, что его честолюбивые мечты все же воплотятся.

При ослаблении одной из этих движущих сил записи становятся более редкими и менее эмоциональными. Так, во второй половине мрачного семилетия уходит надежда на высокие назначения, а с началом правления Александра II исчезают основные причины для грусти: в 1861 г. Корф становится главноуправляющим Вторым отделением С. Е. И. В. К., а в 1864 г. — председателем департамента законов Государственного совета.

Что касается «официальной», т. е. опубликованной версии дневников (после смерти Корфа в «Русской старине» были напечатаны отобранные автором фрагменты его записей, отцензурированные к тому же Александром II¹²), там первый из импульсов фигурирует гораздо реже. Грусть, кроме самой официальной, осталась лишь в личных записях Модеста Андреевича.

¹² «Из записок барона (впоследствии графа) М. А. Корфа» (Русская старина. 1899. № 5–12; 1900. № 1–7); «Из дневника барона (впоследствии графа) М. А. Корфа» (Русская старина. 1904. № 1–2, 5, 6). Переизд. в [Корф 2003].

Источники

Архивные

- Дневник 1848 — Дневник графа М. А. Корфа (автограф) за 1848 г. ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Ед. хр. 1817. Ч. 11.
- Дневник 1849 — Дневник графа М.А. Корфа (автограф) за 1849 г. ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Ед. хр. 1817. Ч. 12а.
- Дневник 1850 — Дневник графа М.А. Корфа (автограф) за 1850 г. ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Ед. хр. 1817. Ч. 13.
- Дневник 1851 — Дневник графа М. А. Корфа (автограф) за 1851 г. ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Ед. хр. 1817. Ч. 14.

Опубликованные

- Корф 1838–1839 — *Корф М. А.* Дневники 1838 и 1839 гг. / Предисл., подгот. к печати и коммент. И. В. Ружицкой. М.: Рубежи XXI, 2010.
- Корф 1840 — *Корф М. А.* Дневник за 1840 год / Предисл., подгот. текста к печати и коммент. И. В. Ружицкой. М.: Квадрига, 2017.
- Корф 1843 — *Корф М.* Дневник. Год 1843-й / Предисл., подгот. к печати и коммент. И. В. Ружицкой. М.: Academia, 2004.
- Корф 2003 — *Модест Корф, барон.* Записки. М.: Захаров, 2003.

Сокращения

ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации (Москва).

Литература

- Волошина 2022 — *Волошина С. М.* Власть и журналистика. Николай I, Андрей Краевский и другие. М.: Изд. дом «Дело» РАНХиГС, 2022.
- Марасинова 1999 — *Марасинова Е. Н.* Психология элиты российского дворянства последней трети XVIII века: (По материалам переписки). М.: Рос. полит. энциклопедия (РОССПЭН), 1999.
- Старобинский 2016 — *Старобинский Ж.* Чернила меланхолии / [Пер. с фр., общ. ред. и предисл. С. Зенкина]. М.: Нов. лит. обозрение, 2016.
- Уортман 2002 — *Уортман Р. С.* Сценарии власти: мифы и церемонии русской монархии: В 2 т. Т. 1: от Петра Великого до смерти Николая I. М.: ОГИ, 2004.
- Успенский, Живов 1996 — *Успенский Б. А., Живов В. М.* Царь и Бог (Семиотические аспекты сакрализации монарха в России) // Успенский Б. А. Избранные труды. Т. 1: Семиотика истории. Семиотика культуры. М.: Шк. «Языки рус. культуры», 1996. С. 205–337.
- Шмитт 2016 — *Шмитт К.* Понятие политического / Пер. с нем. под ред. А. Ф. Филиппова. СПб.: Наука, 2016.

References

- Marasina, E. N. (1999). *Psikhologiya elity rossiiskogo dvorianstva poslednei treti XVIII veka* [Psychology of the elite of the Russian nobility of the last third of the 18th century]. Rossiiskaia politicheskaya entsiklopediya (ROSSPEN). (In Russian).
- Schmitt, C. (1963). *Der Begriff des Politischen: Text von 1932 mit einem Vorwort und drei Corollarien*. Duncker & Humblot. (In German).

- Starobinski, J. (2012). *L'encre de la mélancolie*. Seuil. (In French).
- Uspenskij, B. A., & Zhivov, V. M. (1996). Tsar' i Bog (Semioticheskie aspekty sakralizatsii monarkha v Rossii) [Tsar and God (Semiotic aspects of the sacralisation of the monarch in Russia)]. In B. A. Uspenskij. *Izbrannye trudy, Vol. 1: Semiotika istorii. Semiotika kul'tury* (pp. 205–337). Shkola "Iazyki russkoj kul'tury". (In Russian).
- Voloshina, S. M. (2022). *Vlast' i zhurnalistika. Nikolai I, Andrei Kraevskii i drugie* [(State) power and journalism: Nicholas I, Andrei Krayevsky and others]. Izdatel'skii dom "Delo" RANKhIGS. (In Russian).
- Wortman, R. S. (1995). *Scenarios of power: Myth and ceremony in Russian monarchy, Vol. 1: From Peter the Great to the death of Nicholas I*. Princeton Univ. Press.

* * *

Информация об авторе

Information about the author

Светлана Михайловна Волошина

кандидат филологических наук
старший научный сотрудник,
Лаборатория историко-культурных
исследований, Школа актуальных
гуманитарных исследований, Институт
общественных наук, Российская академия
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ
Россия, 119571, Москва,
пр-т Вернадского, д. 82
Тел.: +7 (499) 956-99-99
✉ s.m.voloshina@gmail.com

Svetlana M. Voloshina

Cand. Sci. (Philology)
Senior Researcher; Center for Cultural
Studies, School for Advanced Studies
in the Humanities, Institute for Social
Sciences, The Russian Presidential
Academy of National Economy and Public
Administration
Russia, 119571, Moscow,
Prospekt Vernadskogo, 82
Tel.: +7 (499) 956-99-99
✉ s.m.voloshina@gmail.com